

Б ОЛЕЕ ста лет прошло со времени этой полемики, но у нас есть основания вчитываться и теперь в каждое ее слово. Во-первых, здесь сошлись два писателя, величие которых, неоспоримое в наших глазах, есть открытие и достижение скорее нового века, чем их эпохи. Во-вторых, полемика идет вокруг гениального лесковского рассказа, входящего в круг живого чтения современных людей. И в-третьих, перед нами пример того, как встреча двух крупных характеров, на человеческом уровне вроде бы «аннигилирующих», выявляет в них высшее взаимное тяготение друг к другу.

Взаимоотношения людей такого масштаба полны страстей, добрых либо злых, но никогда не мелких, ибо здесь ощущается дыхание времени и биение истины. О писателях такого уровня сказано: они разговаривают друг с другом, как держава с державой. Спор по частностям выявляет взаимодействия художественных систем, неудержимо устремленных к единому — к ощущению России, ее культуры, ее духовной миссии. И в этом — еще один важнейший для нас урок острой полемики, вспыхнувшей вокруг «Запечатленного ангела» весной 1873 года, сразу же после того, как он появился в январской книжке «Русского вестника».

Собственно, на рассказ Лескова откликнулись и другие достаточно едкие умы того времени; оживленное обсуждение рассказа шло в крупнейших либеральных газетах — в «Новом времени», в «Санкт-Петербургских ведомостях». На Лескова эта критика не произвела впечатления; он на нее просто не отреагировал.

Отреагировал он на высказывание, которое явилось на страницах куда менее уважаемой газеты «Гражданин», издававшейся князем В. П. Мещерским. Но дело не в этом, а в том, что редактором газеты в ту пору был Ф. М. Достоевский, который вел там свой «Дневник писателя».

Чтобы уловить некоторые оттенки начинающейся полемики, представим себе психологический фон ее — взаимоотношения двух великих писателей. Тот факт, что именно Достоевский за восемь лет до того опубликовал в своем журнале «Леди Макбет Мценского уезда», отнюдь не говорит ни о принципиальной солидарности, ни о личной приязни. Напротив, та публикация стала для Лескова источником неприятных переживаний, и в частности хлопот о гонораре, выплату которого Достоевский, по стесненности обстоятельств, бесконечно откладывал; в конце концов вместо денег он выдал Лескову вексель, который тот так никогда и не решился предъявить.

Статья Достоевского о «Запечатленном ангеле», появившаяся 19 февраля 1873 года, называется — по фразе Лескова, вложенной в уста архиерея, — «Смятенный вид».

«Я, — начинал Достоевский, — кое-что прочел из текущей литературы и чувствую, что «Гражданин» обязан упомянуть о ней на своих страницах. Но — какой я критик?.. Я могу сказать кое-что лишь «по поводу».

Прервемся на секунду. Оценим интонацию. Достоевский не менее Лескова умеет быть в интонации коварным, и уж Лесков-то должен уловить некоторую снисходительность и в этом: «кое-что... из текущей литературы», и в том, как строкою ниже Достоевский признает его, Лескова, читательский успех:

«Известно, что сочинение это многим понравилось здесь в Петербурге и что очень многие его прочли. Действительно, оно то-

го стоит: и характерно, и занимательно! Очень занимательно рассказано...»

И Достоевский начинает излагать содержание, попутно — и все в той же «коварной» манере — отмечая разнообразные удачи автора. В «запутанной и занимательной истории» о том,



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.

«Я УЗНАЛ ВАС... ПО СЛОГУ»

как похищенный у раскольников «Ангел» был «выкраден обратно», он находит особенно выдающимися беседы об иконной живописи. «Это место серьезно хорошо, — хвалит Достоевский, — Лучшее во всем рассказе». Что же касается чудесного финала, то тут, оговаривается Достоевский, «автор не удержался и кончил повесть довольно неловко». Замечание вскользь: «К этим неловкостям г. Лесков способен; вспомним только конец диакона Ахиллы в его «Соборянах»... И далее — рассуждение, чрезвычайно важное для позиции Достоевского: «Он (Лесков. — Л. А.), кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам и поспешил разяснить чудо...» Перебрав далее эпизод с отклеившейся от лика ангела бумажкой, Достоевский не ограничивается беглым замечанием; Достоевскому эта тема дорога; он в нее углубляется; он ставит Лескову иронический вопрос: чему же тут радоваться — чуду распечатления или соскользнувшей бумажке? «Отчасти и непонятно», в чем тогда смысл рассказа, и вообще возникает «некоторое недоверие к правде описанного...».

Тут, конечно, не только интонация должна была задеть Лескова. Мы увидим далее, что именно замечание о чуде стало пунктом наиболее острой полемики писателей. И не случайно. Здесь есть глубокая онтологическая причина, хотя на поверхностный взгляд расхождение кажется пустячным и даже странным. В самом деле: Лесков, знаток «провинциальной тьмы», объясняет чудо элементарным физическим законом (бумажка отклеилась); Достоевский же, возросший во всеоружии «светлых знаний», оскорблен таким сциентистским объяснением и внутренне склонен к чуду, хотя, как мы еще убедимся, не хочет в этом признаваться даже себе самому. А нет ли в этом закономерности? Достоевский, всецело втянутый в ситуацию «культуры», ищет выхода в «безднах» и «пророчествах», в осознании чуда, тайны и авторитета. Лесков же, всецело погруженный в плоть, в реальную ткань и «навоз родной» допетровского, «докультурного», так сказать, слоя,

описывает этот слой как трезвый реалист и в чудесах вовсе не нуждается. Не это ли расхождение так резко развело двух наших классиков? Ведь вокруг этого пункта и будет главный спор.

Легко заметить, что, излагая содержание лесковского рассказа, Достоевский выявляет в нем только один аспект — столкновение «начальства» и «общества». Однако в отличие от других критиков, отпускаявших по адресу начальства вполне символические и ни к чему не обязывающие либеральные вздохи, Достоевский мыслит очень четко и очень точно. Его интересует во всей этой истории только один человек — православный архиерей. Тот самый, что отобрал запечатленного ангела у «жандармов» и поставил у себя в алтаре со словами: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявлявши!» Что же это такое! — возмущается Достоевский. «Архиерей, после такого неслыханного, всенародно-бесстыдного и самоуправного святотатства, ко-

торое позволил себе взяточничиник, — не в силах остановить (его. — Л. А.)... от таких зверских и ругательных религиозных действий! Неужели это все у нас могло произойти?.. Неужели при сем местный архиерей не мог и не имел бы права поднять хоть палец в защиту святыни?» Можно ли «с почтением отнестись к той церкви, в которой высшая духовная власть... так мало имеет власти?»

В сокрушении от изобличенной Лесковым слабости православного иерарха Достоевский сравнивает последнего с лютеранским пастором — пастор «стал пораньше, с первыми птицами», и идет к народу... «А наши священники? — горестно спрашивает Достоевский. — Что об них-то слышно?»

И отвечает: «А наши священники тоже, говорят, просыпаются... Поспеют ли только вовремя?.. О, конечно... добрых пастырей у нас много, — может быть, более даже чем мы можем надеяться или сами того заслуживаем. Но все-таки, что же он стал бы тут проповедовать? (приходит мне иногда в голову как светскому человеку, с делом незнакомому)*... Ведь мужики люди темные: ничего не поймут... Доброе поведение и добрые нравы... Но какие же тут «добрые нравы», когда народ пьян с утра до вечера. Воздержание от вина в таком случае, чтобы истребить зло в самом корне? Без сомнения так, хотя... не слишком пускаюсь в подробности, ибо... ибо все-таки надо иметь в соображении величие России, как великой державы, которое так дорого стоит... Ну а ведь уж это в некотором роде почти то же, что и «смятенный вид-с». Остается, стало быть, проповедовать, чтобы народ пил немножко только поменьше... Ну а пастору, — возвращается к своей мысли Достоевский, — какое дело до величия России, как великой европейской державы? И не боится он никакого «смятенного вида», и служба у него

* Заметим эту лукавую оговорку Достоевского: именно ее Лесков и «зацепил» для атаки.

совсем другая. А потому дело и осталось за ним».

Этим потрясающим местом Достоевский кончает статью. Чтобы почувствовать, насколько важной и острой была в ту пору для русского сознания мысль о цене, которую надо платить за величие России, советуем читателю снять с полки роман Л. Толстого «Анна Каренина» (тогда же писавшийся), раскрыть главу 29-ю третьей части и вдуматься в рассуждения Левина о том, почему плохо работающие русские мужики хотят работать именно таким, странным, «им одним свойственным образом» и в какой связи этот странный образ действий находится с «призыванием заселять и обрабатывать огромные пространства». Откликнется и Лесков на мысль Достоевского, именно — на самый эпатажный аспект ее: на вопль о водке, — но откликнется не скорбь. Через десять лет. В «Печерских антиках».

Пока же Лесков делает следующее: вскоре после выхода

Корреоза снова водворен на этот пост, движение совершилось без кровопролития), вряд ли произвело на Достоевского впечатление, и он не стал бы, наверное, отвечать на столь малозаметную реплику, если бы Лесков ею ограничился. Но через неделю Лесков обнаружил в «Гражданине» новую соблазнительную мишень: повесть под названием «Дьячок». Написавший эту повесть третьестепенный автор Лескову вовсе не нужен. Нужен ему редактор, повесть напечатавший, — Достоевский. На сей раз письмо пишется от имени «Свящ. П. Касторского» — псевдоним звучит трудноуловимой, но несомненной издечкой.

«Священнослужители и церковники, — начинает «свящ. П. Касторский», — весьма нередко в наше время бывают избираемы нашими повествователями и романистами в герои своих повествований... Недавний успех «Записок причетчика» (Марко Вовчка. — Л. А.) в «Отечественных записках» и потом еще больший успех «Соборяна» в «Русском вестнике» показывают, как много интереса могут возбуждать в обществе художественные изображения бытовой среды нашего клира... А почему?..»

Первый существенный промах Лескова как полемиста: реплика «Соборяна», выглядя вполне невинно в устах «свящ. П. Касторского», делается чудовищной бестактностью, если псевдоним раскрыть, а Достоевский, конечно, с этим не замедлит, он такого шанса не упустит.

«...А почему? — продолжает меж тем «свящ. П. Касторский» нахваливать «Соборяна». — Потому что они написаны хорошо, художественно и со знанием дела. Но совсем не то выходит, когда... за это дело берутся люди, которые не имеют о нем никакого понятия. Они только конфузят себя и вредят делу... и я, вслед за псаломщикомом, недавно заметившим в «Русском мире» невежество писателя Достоевского насчет певчих, не могу промолчать о еще более грубом, смешном и непростительном невежестве...»

Вторая тактическая ошибка: с чего это «свящ. П. Касторский» ссылается на «Псаломщика»? Тут общее авторство обоих писем психологически выдано почти с полчищем — верх неосмотрительности в споре с таким проницательным полемистом, как Достоевский, особенно если учесть, что разговор затеян вроде бы «не о том». Разговор, казалось бы, о деталях монастырского быта (связанных в повести «Дьячок» скорее с точностью выражения, нежели со знанием фактов). Но суть — в тоне, в интонации, с какой «свящ. П. Касторский» вопрошает: «...Как же на знать этого редактору г. Достоевскому, который недавно так пространно заявлял, что он большой христианин и притом православный и православно верующий в самые мудреные чудеса...»

Вот он, главный подкол... Достоевский отвечает немедленно.

Статья называется «Ряженный». «Во-первых, батюшка, вы... сочинили (экая ведь страсть у вас к сочинительству!). Никогда и нигде не объявлял я о себе лично ничего о вере моей в чудеса. Все это вы выдумали, и я вас вызываю указать: где вы это нашли? Позвольте еще: если бы я, Ф. Достоевский, где-нибудь и объявил это о себе... то уж, поверьте, не отказался бы от слов моих ни из-за какого либерального страха или страха ради Касторского... Но если бы и было — что вам-то до веры моей в чудеса?.. Желаю, чтобы в этом отношении вы оставили меня в покое — уже хоть по тому одному, что приставать ко мне с этим вовсе к вам не идет, несмотря на все современное просвещение ваше. Духовное



Н. С. ЛЕСКОВ.

номера «Гражданина» со статьей «Смятенный вид» он через В. П. Мещерского предлагает газете «Очарованного странника». Это — попытка примирения. Предложение отвергнуто.

Через две недели в газете «Русский мир» появляется письмо псаломщика.

Удар нанесен с должной хитростью: на статью «Смятенный вид» Лесков прямо вроде бы не отвечает. Он «придирается» к опубликованному уже после нее в том же «Гражданине» заметкам Достоевского о картинах, отправляемых на венскую выставку живописи, и с ядовитой заботливостью поправляет Достоевского по поводу полотна Макаковского «Псаломщики»: певчие-де искони в «официальных костюмах» не певали, а только в черных азиях; Псаломщик, подписавший письмо, опасается, как бы через «неведущее слово г. Достоевского» не укрепилось неосновательное мнение насчет певческих либрет. «Неведущее слово» есть, конечно, ответ на неосторожную саморекомендацию Достоевского как «человека, с делом незнакомому», но ответ, в общем, не бьет какой вызывающий. Крошечное письмецо «Псаломщика», тиснутое на бледной и слепой странице газеты «Русский мир» между петербургской хроникой («Выбросился из окна воспитанник учительского института Дмитровский и убился до смерти») и иностранной почтой («В Панаме свершилась революция, в силу которой президент

Полемика Достоевского и Лескова вокруг «Запечатленного ангела»

лицо, а так раздражительный. Стыдно, г. Касторский!..»

С ледяным пренебрежением Достоевский опровергает или отвергает фактические замечания своего оппонента; суть не в них, уверен он, — суть в борьбе за существование, и придириги г. Касторского — это, так сказать, дарвинизм в литературе: не смеи, дескать, соваться на нашу ниву; это наш угол, наша эксплуатация, наша доходная статья. «Не правда ли, ведь это вас взволновало, священник Касторский? Помилуйте, — иронически успокаивает его Достоевский, — можно написать пером слово «дьячок» совсем без намерения отбивать что-нибудь у г. Лескова...»

Вот чувство дистанции! Опытнейший полемист, Достоевский нигде прямо не говорит, что П. Касторский есть Лесков; он не дает противнику ни малейшей юридической зацепки, хотя намекает на это буквально в каждой фразе:

«...Знаете, батюшка, вы вот человек не литературный, что и доказали, а между тем я вам прямо скажу, что ужасно много современных повестей и романов выиграли бы, если б их сократить. Ну что толку, что автор тратит вас в продолжение сорока листов и вдруг, на тридцатом листе ни с того ни с сего бросает свой рассказ в Петербурге или Москве, а сам тащит вас куда-нибудь в Молдо-Валахию, единственно с той целью, чтоб рассказать вам о том, как стая ворон и сов слетела с какой-то молдо-валахской крыши... Из-за денег пишут, чтобы больше страниц написать!»

Ядовитейшее место. Двойной нарек. Во-первых, «Молдо-Валахию» — это роман Лескова «На ножжах». Но это не все. Замените в пассаже Достоевского «Молдо-Валахию» Беловежью, и вы получите точную модель романа «Некуда» с соответствующим эпизодом на тридцатом листе.

Ну и, наконец, главное для нас место: «А знаете, ведь вы вообще... не священник Касторский, и все это подделка и вздор. Вы ряженый...» Объясните нам подробно, почему вас узнал... но имя вслух не объявлю... и это вам, естественно, будет очень досадно... Я узнал вас, г-н ряженный, по слогу».

Далее следует общеизвестный пассаж, который обычно фигурирует в учебных комментариях к «Запечатленному ангелу» в качестве подаренного Достоевским науке «очень интересного определения стилистического своеобразия Лескова». Определение действительно замечательное, но учтем, что Достоевский предпринимает свой анализ вовсе не с целью сделать подарок «науке» и даже не из интереса к предмету. Он уличает оппонента. Тон — соответствующий:

«Во-первых, г-н ряженный, у вас пересолено. Знаете ли вы, что значит говорить эссенциями? Нет? Я вам сейчас объясню. Современный «писатель-художник», дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, составляя купцов, мужиков и пр.) обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки; наконец тем, кто наберет несколько сот нумеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят, и, уж кажется бы, верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец или солдат в романе говорят эссенциями, то есть как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре. Он, например, скажет такую-то, записанную

вами от него же фразу, из десяти фраз в одиннадцатую. Одиннадцатое словечко характерно и безобразно, а десять словечек перед тем ничего, как и у всех людей. А у типиста-художника он говорит характерными сплошь, по записанному, — и выходит неправда. Выведенный тип говорит как по книге. Публика хвалит, ну, а опытного литератора не надуете...»

Приведем цитату. В принципе Достоевский прав, но его определение легко распространяется на художественную речь вообще; в конце концов и его собственные герои говорят эссенциями, только не «бытовыми», а философскими: в реальности два провинциальных дворянина, сидя в трактире где-нибудь в Скопторигоньевске, ни за что не смогут вести диалог Ивана и Алеши Карамазовых. Чем сильнее писатель, тем сильнее эссенция, даже если она создает полную иллюзию реальности, это все-таки иллюзия, потому что механически точно воспроизведенная эмпирика есть просто мертвый протокол. Эссенция — закон художества и закон духовности, вопрос только в предмете и смысле сгущения. А вот, этого-то и нет в рассуждении Достоевского: нет определения того, что именно вызывает к жизни лесковскую сгущенность. Попробуем хотя бы почувствовать, за что Достоевский ее отвергает:

«...И большею частью работа вывесочная, малярная... Правда, есть оттенки и между «художниками-записывателями»; один все-таки другого талантливее, а потому употребляет словечки с оглядкой, сообразно с эпохой, с местом, с развитием лица и соблюдая пропорцию. Но эссенциозности все-таки избежать не может... Мало меры. Чувство меры уже совсем исчезает...»

Опять-таки, и чуть поразительное, и знание лесковской прозы; как подмечена несоразмерность, безмерность лесковской образности! Четверть века спустя Н. Михайловский разовьет это вскользь брошенное замечание Достоевского в целую концепцию лесковского творчества... Оно действительно причудливо, странно и несообразно — с точки зрения той культурной эпохи, внутри которой ощущает себя Достоевский. Условно можно назвать эту эпоху «послепетровской». Лесков действительно «из другой эпохи». Из «допетровской». Из «подпочвы» Достоевский все почувствовал. Но он не стал вдмываться в духовную реальность, которая вызвала к жизни лесковские эссенции, потому что эта реальность была от него далека. Достоевский просто отверг ее с порога.

Размышляя сегодня о тех человеческих ценностях, которые отстаивают оба классика, мы чувствуем скорее их глубинное единство, чем разность, скорей общий в наших глазах духовный и нравственный пафос, чем частные расхождения: на расстоянии в сто лет эти расхождения и впрямь не так уж существенны. Достоевского, конечно же, должен был раздражать тот трезвый практицизм, за которым Лесков хитро прятал «праведность» своих героев, — Достоевский не мог не отвергать такое лукавство в сфере духовного строительства, в которой сам-то Достоевский чувствовал себя пророчески серьезным. Однако серьезность, с какой Достоевский уповал на чудесное преобразование русской реальности и думал, что спасение придет со стороны «Власов, кающихся и некующих», со стороны народа, погрязшего в грехе («Не Петербург же разрешит окончательную судьбу русскую», — написано в том же «Гражданине» за месяц до «Смятенного вида»), — непрактичной и утопичной должна была казаться эта вера Лескову с его конкретной трезво-

стью в «глобальных» вопросах; а если взять в расчет полемический пыл и злобу дня, то такая вера должна была представляться Лескову обскурантской и дилетантской разом. Лесков не верил ни в теократию будущего, ни в теперешние чудеса — Достоевский не верил, что такое неверие может сочетаться с правдивостью: лесковские праведники вырастали из-под почвы, ему неведомой. Общего языка не было, хотя оба писателя решали одну задачу: пытались применить нравственный абсолютизм к человеческим ценностям и человеческим ценностям — к реальной жизни. Фигурально говоря, оба строили один замок, но один — с воздуха, а другой — с земли. Из небесной бездны земная глубь не различалась; связи почти не было; возникала не связь, а аннигиляция...

Последним абзацем своей статьи Достоевский разделился с газеткой; давшей его оппоненту слово:

«А при чем же тут сам «Русский мир»? Решительно не знаю. Ничего я никогда не имел с «Русским миром» и не предполагал иметь. Бог знает, с чего вскочат люди».

Лесков не ответил.

Чтобы закончить историю взаимоотношений двух великих писателей, скажем: год спустя, весной 1874-го, Лесков поймал наконец своего противника на неточности — на неудачном выражении «светская беспоповщина», и в «Дневнике Меркула Праотцева» (шедшем без подписи) заметил: «Это с ним хроническое: всякий раз, когда он (Достоевский. — Л. А.) заговорит о чем-нибудь касающемся религии, он непременно всегда выскажется так, что за него только остается молиться: «Отче, отпусти ему!»

На сей раз не ответил Достоевский. О чувствах его по отношению к Лескову в ту пору говорит эпиграмма; каламбур в ней связан с тем, что Лесков отошел от изображения духовности и начал печатать «Захудалый род» — семейную хронику князей Протозановых — Достоевский набрасывает на полях рукописи «Подростка»: «Описывать все сплошь «одних попов, по-моему, и скучно и не в моде; теперь ты пишешь в захудалом роде; не провались, А-в».

В печати — ни слова.

Через три года Лесков, прочитав статью Достоевского о толстовской «Анне Карениной», тотчас же, ночью, в страшном волнении пишет ему несколько восторженных строк.

Достоевский не отвечает.

Еще четыре года спустя Лесков идет за гробом Достоевского, а по Петербургу литераторы передают сплетню, будто именно он, Лесков, автор «злонастроенного» некролога в «Новом времени». Лесков пишет Суворину возмущенное опровержение...

Еще через два года Лесков обнаруживает в только что изданном посмертном томе писем Достоевского его замечание почти двенадцатилетней давности; фигура Ванько в романе «На ножжах» — гениальна: «ничего и никогда у Голая не было типичнее и вернее».

Лесков горько жалуется одному из корреспондентов: «Достоевский говорит о какой-то моей «гениальности»... а печатно и он лукавил и старался затеять меня».

Многое на поверхности в этом отклике: и сиюминутная горечь, и чисто человеческая обида, и желание задним числом «выяснить отношения». А в глубине — главное, фундаментальное, всеразрешающее, гордое: он меня ценил!

И это — самое безошибочное. И самое дорогое для нас.